

Дмитрий РАСКИН

Дмитрий Раскин родился в 1965 году. Учился в Горьковском пединституте, кандидат культурологии. Автор нескольких книг стихов и прозы, в том числе «Борис Суперфин» (М.: Водолей, 2017) и «Маскарад миров» (электронная книга, Международное издательство Стрельбицкого, 2017, лауреат международного литературного конкурса «Генератор фантастики»). Публиковался в сетевом журнале «Артикуляция», литературном альманахе «45-я параллель», в «Волге» (2019, № 11-12). Живет в Нижнем Новгороде.

ДОЦЕНТ БОЛДИН

Рассказ

Валерий Александрович Болдин всю жизнь сеял разумное, доброе, вечное (это у него сарказм такой) в N-ском педуниверситете. В юности он, конечно же, надеялся разрешить фундаментальные философские проблемы, и дух захватывало, но защитился по вполне рутинной, сказать бесконфликтной, теме. Любил читать лекции, был вдохновенный и страстный, открыл философский кружок, но те студенты, что попадали под его влияние, спустя какое-то время наливались таким самоуважением, им так нравилась печать «последней мудрости» на собственных лицах... Интересный побочный эффект, не правда ли? Или эффект как раз самый что ни на есть «прямой»? А ему пора уже подводить итоги, пусть и промежуточные, но все-таки. Зачем? Для вящего мазохизма? Как говорит его однокашник и профессор их кафедры Гоша Подпрудный: «В нашем с тобой возрасте, – им по пятьдесят пять, – год уже за два считается. И никаких гарантий». Говорит, кокетничая, конечно же, ибо уверен, что ему-то как раз гарантирована жизнь долгая, в удовольствие, счастливая, правильная. Точнее, «правильность» для него была залогом и счастья, и долголетия, да и всех радостей, что причитаются ему по ходу жизни.

Болдин не любил университетскую среду. За узорность и мелочность, прежде всего. Все эти бесконечные пересуды о должностях и защитах, вся бесконечная борьба грошовых амбиций, остервенелый дележ каких-то копеек и нелепых, вполне пластмассовых лавров. Комичное, раздувшееся до совершенно космических размеров самомнение вполне посредственных людей, свято уверенных, что им за их выдающийся вклад недодали, и от того несчастных. Их желчь, их обида на жизнь ли, на мир, их многолетняя, смакуемая ненависть друг к другу... И на это ушло время жизни – его, Болдина, жизни! Ничего страшного, правда? Можно, конечно же, посмеяться, поупражняться все в том же сарказме, что он всегда и делал, но... Сознание, что он, Болдин, все *понимает*, до какого-то времени позволяло ему быть как бы *вне* и как будто бы *над*, но он преувеличивал. Обольщался даже. И, стало быть, это поза, в конечном счете пошлость. Да и не в университете дело здесь... так, по касательной здесь университет. Просто жизнь не сбылась. Получается, он обманывал себя, льстил себе самому посредством этого своего *понимания*? А на самом-то деле у него – в его жизни и у него – так и не было настоящего, радостного, живого, не было, не было того, что хоть как-то относится к подлинности, к простой человеческой подлинности, хоть к какой свободе – надо признать. А не хочется. Но возраст такой, что действительно, стилем сказать, пора подводить итоги. А их, в общем-то, нет. Плевать! В который раз заговорит себя самого словесами... Прочитаны книги, написаны тексты, много книг и сколько-то текстов, но... так и не произошло, не случилось... А должно было? *Не случилось ничего вообще*. Жизнь не случилась. Он сам не случился?! И что? Что?! Да ничего. Такое вот низенькое, незамысловатое, даже отчасти уютное «ничего». В конечном счете это комично. И безнадежно. Такая отечная непроходимая безнадежность, а у него есть свои радости,

удовольствия и кое-какое творчество с наскоками, с претензией на «предельные вопросы», и кое-какие удачи этого творчества – кажется, это нелепо. Конечно, нелепо, но позволяет ему хоть как-то держаться «на плаву», и все ж таки смысл... Если б можно было начать все вновь, с белизны листа! Ладно, все это слова. Да и вышло б примерно все тоже самое. Что, он себя не знает?! То есть не в этом дело.

Несколько лет назад кафедру возглавила Ольга Макарова, любимая ученица профессора Глуздьева. Тот давно уже заведовал кафедрой, попирая все возрастные цензы, какие только есть. В ректорате решили, хватит. Глуздьев и сам понимает, что хватит. Предложил кандидатуру Ольги. В ректорате не возражали, кафедра, разумеется, за. Так Ольга стала начальницей. Тридцать пять лет всего, самая молодая завкафедрой в городе. У нее высокооплачиваемый муж, и работает она не ради денег, из честолюбия. В отличие от своего предшественника, она не барствует, не скидывает написание бесконечных бумаг на подчиненных, много, можно сказать, до упаду, пишет сама. В ее терминологии – пашет. Подтянутая, сухая, с длинным узким лицом, находит какую-то поэзию во всей этой вузовской бюрократии. Кафедра должна восхищаться ее работоспособностью и тем, как она не щадит себя. А она действительно себя не щадит в этом своем священнодействии. В качестве заведующей она оказалась жестче и авторитарнее своего предшественника, тот мог обсуждать, советоваться с коллективом, она же доводила до коллектива принятые ею решения, и только. По отношению к самому профессору Глуздьеву (он оставил себе чисто символическую нагрузку, так, «для тонуса») она довольно быстро усвоила покровительственно-снисходительный тон. Глуздьев обескуражен, закусил губу.

Ольга придавала большое значение патриотическому воспитанию. И ладно, если б воспитывала студентов, взялась и за преподавателей. В том числе и за тех, у кого сама когда-то училась. А тут как раз, как хихикнул Гоша Подпрудный, «мы снова оказались великой державой».

Ольга назначила заседание кафедры. Тема: известный московский филолог высказался о прискорбном состоянии современного русского языка. Ольга заготовила резолюцию, за которую все должны были проголосовать. Но мало того, что проголосовать, каждый прежде должен был высказаться. Все и высказались. «Как он смел?!» «Посягнул на самое святое!» «Так оскорбить язык Пушкина и Тургенева!» «И кто! Кто!» – тут уже обсуждалась национальная принадлежность филолога, за которой скрывалась (не могла не скрываться!) еще более злокозненная национальность. «Он, – вдохновляется Гоша Подпрудный, – как какой-то Дантес. Нет! даже хуже Дантеса, потому что нанес совершенно предательский удар в спину нашему языку». «Русофоб! Ненавидит наше величие!» – подхватили все. Болдин всегда поражался нелюбви своих коллег к свободе. Бескорыстной их нелюбви, потому как свобода, если подумать, лично им ничего плохого не сделала. И получился на кафедре очередной сеанс коллективной мены свободы на Величие. Обменяли то, чего не имели, на то, чего не будет.

– А я даже рад, что письмо этого, – профессор Самсолов называет фамилию московского филолога, – увидело свет и стало событием. Благодаря ему мы не просто сплотились – достигли уже какой-то предельной консолидации.

Доцент Изгоскин высказался в том духе, что его патриотическим чувствам уже тесны академические рамки, и он готов поехать в Москву, дабы набить морду...

«Кажется, он намекает, чтобы ему оформили командировку и выдали суточные», – пробурчал себе под нос Болдин.

Когда очередь дошла до самого Болдина, он сказал:

– Давно уже, где-то в девяностых мелькнул в новостях сюжет: гей-парад в Италии, прохожие, в том числе благообразные старички, приветствуют действо, машут ручками, радуются...

– А теперь попробуйте перейти к делу, если можно, конечно, – Ольга смотрела на него своими немигающими глазами.

– А я уже перешел, – говорит Болдин, – старички радуются, машут и не помнят, совершенно искренне не помнят, как в юности рукоплескали, радовались расправам Дуче над геями.

– Валерий Александрович, вы это к чему? – раздалось несколько раздраженных голосов.

– К тому, что придет время, и вы все забудете, что разделяли всецело «восторги сегодняшнего дня», не вспомните о нынешней своей «предельной консолидации». Вы снова будете искренни и не виноваты.

Кафедра дала Болдину решительный отпор, что и было занесено в протокол.

– Кстати, Валерий Александрович, что-то вы давно ничего о Крыме не говорили, – уела его Ольга.

– Как говаривал незабвенный Павел Иванович Чичиков: «Закон! Закон! Я немею перед законом», – ответил Болдин.

– Валерий Александрович, а вы попробуйте как-нибудь эвфемизмами. Можно же, а? – развивает мысль своей начальницы Гоша Подпрудный.

– Можно. Но тошно, – налился желчью Болдин.

Вечером ему позвонил Гоша Подпрудный, начал в своей манере:

– Валерочка, мне кажется, ты это как бы зря. Надо уж как-то себя сдерживать. А Ольга Паловна наша, я подозреваю, баба злопамятная. И в протокол занесла. Могла бы и не заносить, ограничиться устной выволочкой, так нет, постаралась. Так что ты, безусловно, зря.

– Конечно, зря. Но легче стало на душе, – тут же, пытаясь язвить на собственный счет. – Мерзко, но легче.

– Стоит ли ради минутного, так сказать... а жизнь продолжается, жить-то надо, ведь так? А баба карьерная и злопамятная, так что, сам понимаешь.

Болдин сначала подумал, что Гоша звонит, дабы смягчить и сгладить – еще бы, он, друг, однокашник, пусть сам почти что не нападал на Болдина, но поддержал тех, кто нападал. И проголосовал как надо. Теперь же он видит, Гоша дает понять, доцент Болдин, когда его начнут выдавливать с кафедры, не сможет рассчитывать на заступничество профессора Подпрудного и не должен компрометировать его мольбами и требованиями о заступничестве.

Но ничего страшного все ж таки не произошло. Ольга была с ним корректна. Представился случай, урезала ему нагрузку, не без того, конечно. Болдин понимал, когда вдруг оказывается свободным какой-нибудь спецкурс, ему бессмысленно претендовать. И к его писанине она придиралась (по плану кафедры он должен был написать учебное пособие, разумеется, не нужное никому, кроме самого этого плана), заставляла переделывать. Довела тем самым мертворожденное, сделанное, так сказать, «отвратя лицо» пособие до полной мертвечины и безликости. Это у нее считалось профессионализмом. Неприятно, конечно, но ничего не совместимого с жизнью не было. Во всяком случае, пока. Главное, только не подставляться. Очевидно, она обнулила его рейтинг лояльности, если только он действительно есть, но говорят, что вроде бы, да – лежит у каждого в личном деле. Но рейтинг сей никак не сказывался на его жизни, опять же, *пока*.

Когда Ольга забирала у него часы, неприятно было, но, опять же, не смертельно, ибо у него подработка в трех негосударственных вузах. А теперь уже всё – негосударственное образование государство пустило под нож. А жить как-то надо. (Гоша здесь прав.) Правда, теперь, когда он один, требуется ему не так уж и много... но все равно не хватает, м-да.

После развода и всех прилегающих к нему мук он наслаждается одиночеством. В однокомнатной квартирке, пусть далековато от центра, но зато экология... И, главное, полнейшая его анонимность в пейзаже: ни одного знакомого ни на улице, ни в магазине,

он даже своих соседей по лестничной клетке не знает. Его мир: приготовление для себя нехитрой снеди, книга, по субботам бокал недорогого виски перед сном. Ему хорошо. Как никогда хорошо. Казалось бы, должны были возникнуть какие-то тихие, может быть даже гармоничные образы, умиротворяющие мысли, но чувства его мелки, а голова забита вообще какой-то требухой. И это покой? Да, наверно, покой! Такой вот, такого качества, ему под стать... конечно, под стать, в этом надо признаться. Можно даже сказать, не просто покой, а гармония. Это он привычно прикрывается самоиронией. Но это действительно гармония! И она того же самого качества. Он, Болдин, наконец, примирился с самим собой и (да простится здесь пафос!) с жизнью, с миром... Вкус и привкус не очень, но ничего, он примет, как-нибудь свыкнется. Уже свыкся. Это такой налог на покой и гармонию.

Нет, конечно, он трепыхался, пытался... были, были попытки начать себя заново – получалось фальшиво, он просто не сразу понял. Хотя, эти его кривляния сами по себе и были достаточно интересны, да?

Понимает прекрасно, что не дорос до того, что называют торжественным, выпрненным словом *страдание*. Да и случись вдруг *страдание*, он бы не выдержал. Где уж ему. Но и отсутствие *страдания* все-таки унизительно.

По субботам к нему приезжает Верочка, ей нет еще пятидесяти, но выглядит старше него. Говорит о себе, о своем, ну да, о проблемах своей взрослой дочери, иногда о том, как и чего у них там было, не сложилось с мужем (она три года как одна). Все понятно и предсказуемо, он знает, что и с какой интонацией она скажет в следующую минуту, но у нее без агрессии, не утомительно, не изматывает. Это главное для него. Получается, Верочка под стать этому его обретенному покою.

Кстати, она врач. И это удачно, с учетом возраста и «уязвимой, потрепанной физиологии» Болдина. Это он к тому, что встретит с ней старость? Праздная, лишняя мысль... но как будто разумная, м-да.

Он умеет слушать, он участлив, дает советы. Ему нравится так, быть заботливым, чутким и добрым, когда это не слишком к чему обязывает.

В постели Верочка была добросовестна, но не слишком-то интересна. Зато потом хорошо так лежать с нею рядом, долго и молча – опять же, покой.

Проводив Верочку, он садится, смакует вискарь, закутавшись в теплый плед. Это такая картинка, даже, наверно, кино для зрителя Болдина. И зритель изо всех сил пытается быть снисходительным, можно сказать, легковерным.

Болдин нравился студентам, но им не нужна та глубина предмета, что была ему интересна, с него требовались «простота и доступность», давно уже возведенные в сан «методически правильной подачи материала». Доступность и простота – это, казалось ему, не просто требование руководства, это дух и суть времени. Что ж, если доступность, можно утешиться стилистическими изысками. Но какие тут, к черту, изыски?! Вот, например, Болдин выдаст экспромтом какой-нибудь парафраз Булгакова, если к слову придется, а они Булгакова вообще не читали. Он со своим Булгаковым для них марсианин. И ему самому становилось неловко, хорошо, что студенты этого не замечают. Поэтому студенты не могли оценить его обаяния и девочки в него не влюблялись. Да и он пока еще не в таком возрасте, чтобы простить девичьему очарованию равнодушие все к тому же Булгакову. То есть Болдин не смог бы влюбиться в свою студентку. Кстати о любви: однажды Болдин зашел в банк, снять кое-что со своего счета. Счет у него был, но он явно не из тех, что вселяют в своего владельца уверенность в завтрашнем дне или же вызывают уважение у самого банка. И тем не менее Болдина взяла в оборот сотрудница банковского офиса, миловидная, совсем еще юная, видимо, только что получила диплом. Она обрушила на Болдина поток предложений: тут и покупка золотых юбилейных монет, и счастливая возможность играть на продовольственной бирже, и всевозможные дисконтные карты... Но умилило Болдина вот что: «Мы можем открыть вам вклад для

вашей второй женщины. И жена никогда не узнает, даже если будет развод или вступление в права вашего наследства. Мы понимаем, что такое поздняя любовь». Девочка явно шпарила по какой-то банковской методичке. А у него, Болдина, не будет уже «поздней любви». Да и не было любви вообще. Если вдуматься, не было. Все получалось у него бездарно и тягостно. Он уставал от своих женщин и от себя самого – не хватало воздуха. Женщины считали его эгоистом, Ирина, его жена, теперь уже, слава богу, бывшая, употребляла для вящего сарказма: «себялюбца». А он давно уже не любит себя, и эта всегдашняя его жалость к себе самому отвратительна. Густая, вязкая жалость. И предается он ей по инерции, по привычке из принципа. Получается, что назло самому себе – это он уже язвит на собственный счет. Вот вам, пожалуйста, новая грань мазохизма. Ирина, психолог, кандидат наук, не оценила.

Самоирония помогала далеко не всегда. А в последнее время от нее даже делалось хуже – в его жизни не будет уже ничего, *не было самой этой жизни*, а он хорохорится, что-то такое из себя изображает-пытается, прячется в самоиронию, в живость ума и характера.

Открыл электронную почту, там письмо от Ольги Павловны. Анкета с полусотней вопросов, она рассылает и преподавателям, и студентам... заполнить не позднее пятого числа. Ну да, в рамках ее программы «мониторинга патриотизма». Что там? «Какие чувства вы испытываете, когда слушаете исполнение Государственного гимна»? (указать вашу первую, спонтанную реакцию). «Почему вы не вывешиваете у себя на балконе Государственный флаг»? (В случае отсутствия балкона: «почему не вывешиваете в окнах?»). «Кого из героев современности вы рекомендовали бы молодежи в качестве примера»? (Не более трех персоналий). Писать то, чего она ждет – унизительно. Отвечать серьезно и честно – глупо. Отвечать издевательски – совсем уже по-тинейджерски получится у него.

Он живет себе и живет. Не в восторге, конечно, от процесса, но и трагедии нет... драмы тоже. Давно перерос себя самого той поры, когда нужна была имитация драмы. Правда, тогда был интересен себе самому все-таки, пытается острить Болдин. А сейчас он привык. Привык к своей жизни, а наивная его уверенность, что он все ж таки лучше, глубже собственной жизни и в нем есть то, чем он к ней, блеклой, безликой, не сводится – это так, в пользу самоуважения, не более.

Чего ему, Болдину, собственно, надо? Смысла? Так у него, в общем-то, есть этот смысл. Некоторый смысл, да? Может, ему не хватает абсолютного смысла? Болдин соорудил себе самому гримасу. А-а, ему, кажется, нужен катарсис! Снова гримаса на собственный счет.

Среди многочисленных нововведений Ольги Макаровой самым приятным для коллектива был выход кафедры в кафе. По случаю начала учебного года, новогодних праздников и т.д. Кафе было недалеко от педуниверситета – вкусно, уютно и довольно недорого. (Многим было жалко отрываться от своих чудосочных зарплат, но разве можно противопоставлять себя коллективу?!) Для них сдвигают столы в дальнем маленьком зале. Сегодня им предстояло отмечать окончание учебного года. Как всегда, будет тяжеловесное, натужное веселье не слишком-то жизнерадостных людей, а не идти Болдину все-таки неудобно. Он и так пропустил, не ходил с ними ни на первое сентября, ни перед Новым годом.

Ольга провозгласила тост «за всех вас и за наших студентов».

– За нашу неотразимую и очаровательную Ольгу Павловну! – поднялся с бокалом Гоша Подпрудный. – Она на своих хрупких, но несокрушимых плечах держит весь этот, не побоюсь слова, монблан учебного процесса, и не просто держит, но поднимает на качественно новый уровень... – Гоша единственный среди них, кто был действительно по

природе своей жизнерадостен, – ...ненавязчиво подтягивая нас до той вожаделенной планки высочайшего профессионализма, задавая при этом совершенно особый и чрезвычайно ценимый всеми нами тон, стиль общения... – Гоша только входил во вкус, – Ольга Павловна наша... – Гоша теперь обращается не к своей начальнице, а к коллективу. Потому, видимо, что скажет сейчас нечто такое, что начальнице в глаза говорить неловко. Переходит на доверительный полусшепот, как бы для того, чтобы Ольга Павловна не слышала, – ...взяла и влила новое вино... – Гоша весьма юмористически заглянул в свой бокал, – ...в наши старые меха, – помимо всего прочего, это шпилька профессору Глуздьеву, его здесь нет, но ему передадут. – И мы, Ольга Павловна, – Гоша снова обращается к своей начальнице, снова громогласен, – не перестаем наслаждаться, так сказать, букетом и ароматом. Не боясь при этом, хе-хе, впасть в своего рода алкогольную зависимость... – жизнерадостная вальяжность позволяла Подпрудному заниматься самым что ни на есть бесстыжим подхалимажем, не теряя самоуважения и достоинства. Из уст кого другого все это могло бы прозвучать грубо, даже скандально, а ему, Гоше Подпрудному, можно. Интересно, а если Ольга вдруг перестанет быть завкафедрой, Гоша вполне искренно сочтет свою сегодняшнюю речь (если вспомнит о ней вообще) иронией, троллингом, утонченной такой насмешкой над Ольгой Павловной?

– За наш N-ский педуниверситет! – продемонстрировала скромность Ольга Павловна.

– Ура! Ура! – подхватили все.

Вечер вступает в ту свою фазу, когда уже не будет бестактным встать и откланяться, что Болдин как раз и собирается сделать.

– Валерий Александрович! – Ольга будто только сейчас заметила, что он здесь, за одним с ней столом. – С нетерпением ждем вашу анкету.

– Видите ли, Ольга Павловна, мне сначала надо написать довольно много бумаг, которые относятся к числу моих прямых обязанностей как доцента кафедры.

Ольга усмехнулась, дескать, какой намек, надо же! Намек на то, что она не вправе требовать с него этого «теста на патриотизм». Усмехнулась выразительно так, давая понять, что он достаточно жалок, как всякий, кто у нас вознамерился «качать права».

– Я уважала бы ваши взгляды, Валерий Александрович, если бы вы сами их уважали. А вы даже боитесь изложить их открыто и честно в этой несчастной моей анкетке. Почему? – она смотрела на него этим своим фирменным немигающим взглядом.

И что? Сказать ей, что не заполнил ее анкету просто из такта? Из стилистических соображений, точнее.

– Я оценил вашу логику, Ольга Павловна.

Зашел Женька. Надо же, в кои-то веки удостоил отца своим высочайшим вниманием. Болдин выговаривает ему и сам понимает, что глупо. У них уж давно сложилось – общаются изредка, ненавязчиво, не обременяя друг друга своими рефлексиями и проблемами. Это, кажется, устраивало их обоих. А сейчас что, Болдину захотелось участия? Он начинает рассказывать, подробно и сбивчиво. Принуждает сына к участию? Насколько он понимает, у Женьки не было каких-то особых обид на него. И во всей истории с разводом он сочувствовал отцу. Несколько сочувствовал. У него всегда все получалось «несколько». Несколько увлечен работой, несколько любит свою Леру. И с чего это ему, Болдину, претендовать вдруг на нечто большее, на то, чтоб выпасть из этого ряда, подняться над ним? Хорошо, что он там вообще есть.

Болдин добился, сын ему несколько сочувствует. Как, полегчало? Ему надо сейчас говорить о том, что жизнь прошла даром, бездарно и даром, и сделать ничего нельзя, а он занудствует о кафедре. Наконец, Женя сказал, а что если папе того, ну в смысле, соблазнить эту Ольгу Павловну. Ему кажется, что это остроумно, да и устал он уже

сочувствовать. Болдин сразу же сбился, сник. Пытаясь подыграть Женьке, сказал только, что пока что не замечал у себя склонности к некрофилии.

Болдин спрашивает Женьку о его делах. О себе Женя говорит уже другим, потеплевшим тоном, Болдин честно пытается сосредоточиться, вроде бы получилось, он вникает в дела, обстоятельства сына. И попытался что-то такое ему посоветовать. Женя хмыкнул, вроде даже одобрил этот его совет, что вообще-то редко бывает. Может, потому, что обсуждают сейчас они в общем-то пустяковое для Жени житейское затруднение. Вдруг мысль: а Женька не интересен ему, и не как-то там, с оговорками – неинтересен вообще! Пусть он и любит его... насколько может.

– Насколько можешь, папа, – Женя, кажется, угадал, о чем он сейчас. – А все твои попытки чего-то большего... твои претензии на нечто большее, стоит ли?

– Попытки не очень-то и частые, – съязвил Болдин. – Не обольщайся.

– Пап, в холодильнике есть чего? А то я прямо с работы

Часто ли в его жизни бывало необратимое? В общем-то, редко. Слава богу, конечно. Если не считать того, что необратима сама эта жизнь. «Тоже мне открытие, да?» Его жизнь! Почему она оказалась настолько нелепой и зряшной?! А то небольшое, что в ней было хорошего, светлого, доброго, получалось каким-то плоским у него, тут же теряло сок, достоверность, смысл. Но он, подслеповатый и самодовольный, верил в реальность этого своего «лучшего», «главного». И даже когда изводил себя мыслями о неудавшейся жизни и собственной никчемности, все равно, в глубине ли, каким-то ли краешком, верил. Так и прожил с этой верой. Стыдно как! Почему? Это ж просто недоразумение. А такой нестерпимый стыд. Жизнь как недоразумение. Собственная правота в протяженности жизни по недоразумению. Суть и смысл по недоразумению. Собственная глубина по недостатку воображения. Перечислять дальше?

Независимо от того, сколько ему еще осталось, а осталось, скорее всего, немало – будет все то же самое. И не денешься никуда – врать себе самому не надо. Можно, конечно, увлечься каким-нибудь экстравагантным хобби, найти себе женщину поинтереснее Верочки, чтоб было лестно для его самолюбия, ну и, разумеется, продолжить, продолжать свое всегдашнее «вопросание о предельных вопросах Бытия».

Как нелепо. Невкусно, нелепо. Если б можно было не чувствовать и не знать! Всю жизнь копался в себе: то с наслаждением, то с отвращением, а чаще всего совмещая, а *пустота* оказалась проста, безжалостна и не по силам... Так и надо ему, заслужил, что уж... не спорит. Если можно было б хоть сколько-то воздуха, света...

Позвонил Подпрудный:

– Значит так, Валера! Они объявят конкурс на должность доцента. Как ты, наверное, понимаешь, на твою должность. Естественно, с соблюдением всех сроков и норм. Они ж не вчера родились, правда? – «Они», такой эвфемизм. Подразумевается Ольга Павловна. Гоша не хочет лишней раз поминать ее имя всуе. – Нашелся доцент, не знаю, нашелся или они нашли, будет претендовать. Он из политеха, с гуманитарной кафедры, – упреждая желание Болдина выспросить подробности, – фамилии не знаю. Честное слово, не знаю. Да и какая разница. Как объявят конкурс, сам все прочтешь. – С издевкой, но не над Болдиным, а над интригой: – Так что, Валерочка, готовься. Победит сильнейший.

– Спасибо, – Болдин тронут, не ожидал от Гоши. Для него это поступок. Пусть и знает, что Болдин его не сдаст, но решиться на такой звонок... Гоше пришлось себя преодолеть.

– Погоди благодарить, – Гоша снова становится как всегда вальяжным. – В институте пищеварения, – это он так называет институт пищевой промышленности, – открылась вакансия, правда полставки, и только культурология, но в твоей ситуации... понимаешь сам. В общем, подойди к ним. Сразу. Чем быстрее, тем лучше. Понял? Все,

теперь можешь благодарить, – и тут же резко, не без тревоги в голосе: – Только на меня не ссылайся. Ладно?

Болдин понял, Гоша Подпрудный делает это для очистки совести, так, заранее. Он же не вступится за него, Болдина, и проголосует так, как надо Ольге Павловне. Гоша любит, когда у него чистая совесть.